

ПРОЛЁТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА

Орган правления союза советских писателей СССР.
Выходит под редакцией В. Вишневского, А. Кулагина,
В. Лебедева-Кумача, М. Лифшица, Е. Петрова,
Н. Погодина, А. Фадеева.

№ 6 (857)

30 января 1940 г., вторник

Цена 30 коп.



А. П. Чехов за чтением «Чайки» в группе артистов Московского Художественного театра.

А. ГОРНФЕЛЬД

Чехов и восьмидесятые годы

«Одно убеждение, что восьмидесятые годы не дали ни одного писателя, может послужить материалом для пяти томов», — писал как-то Чехов Суворину. Это одна из ошибок Чехова, о которой не говорит его новый биограф¹ и которую хорошо вспомнить в эти дни. Детище восьмидесятых годов прошлого века, когда он созрел и был оценен как писатель, Чехов был слишком близок этому времени, чтобы воздать ему должное. Мы теперь знаем, что эти годы дали не одного крупного писателя — достаточно напомнить В. Г. Короленко — и дали одного бесспорно великого: А. П. Чехова. Если собрать все, что написано о сумраке и бедности этих годов, то наберется, быть может, и больше пяти томов. Но еще больше будет написано о том большом, что они подготовили, и прежде всего об их великом выразителе, об А. П. Чехове. Трудно, труднее, чем кого-либо, понять его вне его времени, вне тех годов, когда он вышел себя и нашел своего читателя: это тема, которой всегда должны будут отдавать много внимания его биографы.

Книга А. Дермана привлекает своей спокойной сдержанностью. Полная любви к Чехову и стремления сделать его еще более близким и ясным, она не боится правды о нем. После первоначальной обидной недооценки и непонимания Чехов слишком долго был объектом слащавого умиления и огульного восхваления, несмотря на то, что он меньше, чем кто-нибудь, выносил умиление и нуждался в условности поминальных панегириков. Обижен и нестерпим был этот приторный тон по отношению к писателю, между дебиатами и зрелостью которого легла пропасть, в котором в начале его работы случалось выступать с мелочами, достойными лишь забвения.

Чехов не был счастливчиком, и если чем замечательна его жизнь, то именно тем, что она есть упорное преодоление, победа высшей духовной организации над пошлостью, вынесенной из отцовской мелочной и московской мелкогазетной лавочки, победа общественного человека над захолустным обывателем. Дар развития, дар победы над собой был природный дар Чехова: именно он в результате великого сознательного напряжения и сделал его не только прекрасным писателем, но и прекрасным человеком. Поэтому жизненная история Чехова может быть лишь искажена и снижена умолчаниями.

Чехова охотно называли и называют пессимистом; поэтому особенно уместны указания его биографа на то, как много было в писателе живой веры в будущее, как мало отказа от борьбы за это светлое будущее. Веру в прогресс этот мужицкий внук и мещанский сын вынес — мы это знаем по его признанию — буквально на своей спине: таков этот пессимист. Во множестве своих рассказов он часто представляется беспешимым насмешником; в письмах он чаще всего — веселый шутник, легко и открыто приедающий жизнь; надо напомнить, как много острого отрицания, сосредоточенного раздумья, тоскливого сомнения за этой легкостью: таков этот оптимист. Приходится вводить эти разногласия в умеряющие рамки, устранять недоразумения, согласовать противоречия, не сглаживая их.

Сложный образ Чехова не может не быть спорным, и кто знаком с небогатой литературой о нем, поймет, как часто затеана полемика в той или иной аргументации в новой его биографии. Как и следовало ожидать, решение и примирение сами вытекают из исторического подхода, и существеннейшая заслуга А. Дермана состоит именно в историчности его работы, в стремлении вписать отдельные факты жизни писателя в движение эпохи. Эта историчность освещения личности хорошо проведена на ряде моментов: например, на временном, однако, полном значительности «толстовстве» Чехова, на особенностях его манеры, на созревании его вкуса и самокритики, на его последовательном и неуклонном «левении» и т. д.

Можно только пожалеть, что в этой истории развития, даваемой биографом, опущены некоторые моменты общей характеристики эпохи; мало, в частности, уделено внимания раннему читателю Чехова, так решительно разошедшемуся в отношении к писателю с суждениями руководящей критики того времени. Вопрос об этом читателе намечен А. Дерманом в главе «Отклики», где как раз освещено резкое разногласие между оценкой Чехова в критике и в читательских кругах. Правильно замечает А. Б. Дерман, что «уяснить причину этого явления — значит понять самую сущность воздействия чеховского творчества на читателя, а отчасти — и значение этого творчества для истории развития русского общества». Это верно, но только в противоположном порядке: чтобы понять, почему читатель Чехова так решительно разошелся в отношении его значительности с его критикой, надо поближе познакомиться с этим читателем.

В конце восьмидесятых годов Чехов сердито ставил его рядом с раздражавшей его критикой. «Бывают минуты, — писал он Суворину, — когда я положительно падаю духом. Для кого и для чего я пишу? Для публики? Но я ее не вижу и в нее верю меньше, чем в домового;

она необразована, дурно воспитана, а ее лучшие элементы недобросовестны и не искренни по отношению к нам. Нужен я этой публике или не нужен, понять я не могу. Буренин говорит, что я не нужен и занимаюсь пустяками, Академия дала премию, — сам черт ничего не поймет». Чехов был отчасти прав: одобрение благодушно-равнодушного академика Бычкова (по отзыву которого была дана академическая пушкинская премия) обличает не большие понимания, чем злобное брюзжание нововременского Буренина. Но насчет публики он ошибался, публика уже была у автора «Пестрых рассказов»; у него был уже любящий читатель.

А. Дерман относит появление этого читателя к следующему десятилетию и ищет освещения и объяснения в диалектике общественного настроения, в переходе от безвременья восьмидесятых годов к последовательному оживлению: «В середине 90-х годов, когда творчество Чехова достигло полного расцвета, настроение общества было уже не то и, главное, оно шло на подъем». Надо, однако, быть справедливым: общественный подъем всегда и во всем оживляет новой силой все ценное и чреватое будущим, но всей душой тянувшийся к Чехову читатель был у него и в беспробудности восьмидесятых годов; для этого не было нужды в предвзвешенном общественном подъеме. Наоборот, понимание и приятие творчества Чехова было не только следствием такого подъема, но, что гораздо важнее, одним из его стимулов. Оно его не задерживало, как могло казаться критике, — оно его создавало. Надо исходить из представления о раннем читателе Чехова, этом основном создателе его исторического облика, о тех его молодых современниках, на чьем признании и поклонении, на чьих сотворческих увлечениях выросла и обосновалась его слава.

Чтобы понять Чехова исторически, необходимо помнить, что он был поэтом поколения. Это его значение должно быть показано и наполнено содержанием в биографической работе о нем. Речь идет не о ровесниках и, конечно, не о том признании, которым пользовался молодой юморист у Пальмина и Лейкина, и даже не о том, которым дарили его такие ценители его таланта, как Григорович. Суворин понимал, какую силу представлял собой дар Чехова, и выдвигал его, и покупал его лаской, и очень охотно печатал его рассказы, и в своем душевном одиночестве цеплялся за него; Михайловский боролся с реакционным публицистом за направление и приложение этой богатейшей, по его словам, силы. Но в деле искусства мало признания силы; оно есть не завершение оценки, а только начало ее. Никому даже из благожелательных критиков Чехов ни в какой степени не был жизненно необходим как свой, как родной, как руководитель на путях жизни. Люди значительно старше Чехова могли не только понимать, что это крупный писатель, но и видеть интересную свежесть в раскрываемой им картине; однако ничего поражающего, ни у кого другого не обретаемого, ничего захватывающего глубины их личных жизненных запросов они в создании Чехова не ощущали, не могли ощущать.

Для этих сложившихся, так или иначе законченных, людей Чехов писал не о самом главном, он писал не о них, и как бы они ни ценили, ни одобряли Чехова, он не был их поэтом. Наоборот, для молодого человека конца прошлого века, начинающего со второй половины восьмидесятых годов, Чехов был не только объективным изобразителем окружающего мира: в этом изображении он был прежде всего лириком, учителем. В противоположность своим великим предшественникам Чехов не писал романов морального развития; основным его героем не был «герой нашего времени», благородный и интересный то в своих достоинствах, то в пороках, так или иначе становящийся предметом подражания, — молодой испытатель жизни, искатель правды, заблуждающийся и прозревающий.

Хороши они или плохи, герои Чехова не высются горделиво над почтительной толпой, как высятся над ней Онегин и Печорин, Бельтов и Рудин. У Чехова нет героя, узнав которого юноша его времени вдруг всем существом почувствовал бы: «это я» или «таким я хочу быть»; у него нет никого, похожего на Андрея Колосова и Базарова, на Пьера Безухова и Левина, и в этом смысле он был более объективен. Иным путем проникнул он в глубины сознания своего молодого читателя и покорял его. Он рассказывал о том, как наставляет прокурор своего семилетнего сына, неумелым сказочным вымыслом убеждая мальчика во вреде курения, он передавал трогательный и скорбный рассказ короткого отца Иеронима о его покойном друге, вдохновенном и глубоком поэте, он пересказывал исповедь бесплодно мечущегося, пламенно увлекающегося мечтателя, покоряющего этой исповедью случайно встреченную на пути девушку. В этом разнообразии персонажей и безобразности эпизодов Михайловский видел свидетельство общественного безразличия автора, которому все равно, с кого снимать свои превосходные фотографии: вон шампанское пьют, вон быков везут и т. д.

И в самом деле, от старого извозчика, извивающего седоку свою тоску об умершем сыне, до деревенского соблазителя с его исповедным чувственным воздействием на женщину, — все это были люди по складу, по устремлениям, по судьбе далекие какому-нибудь студенту

этой эпохи, уже пытавшемуся беспомощными и беспорядочными университетскими «волнениями» выразить протест против правительственной реакции и делавшего «нового устава» с его инспекцией и парадными мундирами. Но в исканиях и настроениях чеховских героев, в их тяготении сомневаться там, где прежде все предполагалось решенным, в их стремлении нащупать какие-то свои пути, юноша находил отклик, ободрение и ответ.

Многообразие и своеобразие мира и быта раскрывались перед ним, и ему представлялось не таким уже неважным то, что разные, разбросанные, по-своему бьющиеся, падающие и отстаивающие себя люди там пьют шампанское, губят свою жизнь, там везут быков на убой и т. д. Он читал: «в сумерках», а мир прояснялся для него; он читал: «хмурые люди», а на лбу его разглаживались морщины юношеской хмурости. В рассказе настоящей утверждалось: никто не знает настоящей правды, а между тем правда, настоящая, всеохватывающая, раскрывалась в нем, и в этом был какой-то ответ на те основные вопросы, на которые так настойчиво отказывался дать ответ сам писатель. Это было реальное, содержательное оправдание того убеждения, которое поэт другими словами высказывал не раз: искусство не отвечает на вопросы, сформулированные нами, — оно ставит их, и это есть тот ответ, которого ищет в нем читатель.

Молодой читатель Чехова хотел знать настоящую правду, то есть хотел иметь убеждения, но для этого он искал у своего художника не догматов, а методов, и этому его запросу отвечали в полной мере произведения Чехова. С точки зрения этой проблемности образов, этой динамичности художественного постижения, этого заражающего движения мысли надо оценивать так называемый пессимизм Чехова. Слишком легко счастье пессимистами громадное множество поэтов. Лик мира сего редко находят в них восторженных хвалителей. Сатирик бичует нестроение жизни, осмеивая, обличая и не ставя рядом со своими мерзостными персонажами ничего светлого, создавая сплошь отрицательную картину человеческого мира. Внутренний ужас и сострадание судьбой своего героя, трагический поэт приводит его к неизбежной гибели и убеждает при этом, что «таков удел всего прекрасного на свете». Какой уж тут оптимизм! Но уже Гоголь назвал «полюжительное лицо», победоносно противостоящее его карикатурным образам, его социальным и моральным уродам: у него это был смех воспитательный, оздоравливающий: отрицание отрицательного в замысле автора и в восприятии читателя.

Нет никакой необходимости перечислять отрицательных героев Чехова, перебирать те общественные группы, классы, слои, мрачную обличительную характеристику которых дает его произведения: все это правильно, но все в конечном счете дает лишь очень ограниченный повод для суждения о пессимизме. Причина ясна: все преодолевается в поэтическом создании, которое оптимистично по своему существу, по своему назначению. Можно деятельно и убедительно противопоставлять мрачную картину российской действительности в изображении Чехова его склонности к беззаботной шутке и веселью, его вере в жизнь, в будущее родной страны, в отдельных культурных тружеников, можно соглашаться или расходиться с критикой, зарегистрировавшей все цитаты, обличающие Чехова в пессимизме, — все это идет мимо его жизнеутверждающего творчества.

Чехов был не одинок в своей грусти: в тон ей звучала и элегия левитановского пейзажа, и трагическая тоска в музыке его старшего современника, столь близкого ему по настроению, столь далекого по классовому происхождению — Чайковского; недаром нежные нити дружественного расположения тянулись между ними. И мы еще помним, как часто, совсем недавно, в наши дни, повторялась мысль о безысходной сумрачности музыки Чайковского, и как его шестая симфония обаяла свидетелем о его беспросветном унынии, порожденном ощущением неизбежной гибели его класса. Но могучий, вековечный организм шестой симфонии со всей ее сумрачной сосредоточенностью есть лучшее возражение против таких толкований. Для живых и во имя жизни написана музыка Чайковского: она — для чего и для кого она создана? Если это в самом деле абсолютно и непреодолимо, если борьба с ним бесплодна и безнадежна, то прежде всего нечаем в поэтических образах воплощать безграничный размах жизни с ее красками, нечаем писать рассказы.

Из того, что Андрея Прозорова («Три сестры») и «учителя словесности» заткнула приторная тина захолустной пошлости, а Ионыч стал приобретателем, никак не следует, что жизнь с ними кончилась. Пушкин сказал: «как грустна Россия», и за столетие от рождения Пушкина до смерти Чехова гениальные писатели наполнили это суждение большим содержанием. Но был Пушкин, были эти творцы, эти «люди подвига». Ими вдохновлялся Чехов, их почитал он, их — от Пржевальского до Салтыкова — прославлял без всякой хмурости, с ними стал рядом, отвергнув творчеством всякие малодушные выводы из его создания. Велика доля его подвига в том, что создано в его стране после него, и оттого в пафосе нашего времени он продолжает быть еще более родным, еще более нужным, чем в безвременье восьмидесятых годов.

¹ А. Дерман. Антон Павлович Чехов. Критико-биографический очерк, Гослитиздат, Москва, 1939.